Мостик Демидова,
канал Грибоедова…
Тут мужики уже пивом
заправлены.
Им позавидовал,
в «Дикси» проследовал…
Список в кармане,
женою
составленный…

Нет, я никогда к этому не привыкну. Утром одеваешься, умываешься, завтракаешь. Выходишь во двор, идёшь через арку, выходишь на улицу, а там — Питер! И снова — вдруг. И всегда — вдруг. Как же мне это повезло, что я родился не здесь и поэтому никогда к этому не привыкну. Каждый раз, выходя из дома, я буду чувствовать то же удивление от нереальности реального. Просто проходя по нашей коротенькой улице. От дома, где жил Достоевский, до дома, где жил Достоевский. Когда в школе я «проходил» Достоевского, я не мог и вообразить, что буду проходить его буквально — собственными ногами. Вон там, в конце улицы, видны окна комнаты Сонечки Мармеладовой. Поворачиваю за угол и вижу дом Родиона Раскольникова. Я шагаю по строчкам романа «Преступление и наказание» с рюкзачком за спиной и сигаретой в зубах.

Навстречу идёт Герман. Местный — из питерских немцев петровских ещё времён. Даю закурить. Он, как всегда, аккуратно пьян и настроен на туманно-глубокомысленную беседу. Он тоже персонаж романа. Он там не описан, и у него нет реплик, но он — подразумевается. Определённо, это он всю ночь сидел в пивной и угрюмо кивал, слушая нервные откровения Раскольникова. Вон в той пивной в полуподвале дома на углу Столярного. Она там уже лет двести. Прошлое — это всегда.

Вчера стою тут же, около «Дикси». У дома Раскольникова пожилой мужик с удочкой, явно направлявшийся на канал порыбачить и отдохнуть от семьи, о чём-то долго и муторно препирается с женой, торчащей в застиранном халате на балконе второго этажа. Он не должен уходить. Мама не хочет оставаться с ней. Нет, он пойдёт рыбачить, ему надо отдохнуть. Но мама против. Седая косматая старуха в ночной рубашке выползает на балкон. Вернись, а то я сброшусь с балкона. Нет, мам, я уже ушёл. Старуха пытается перекинуть худые ноги в стоптанных тапочках через перила балкона. Мужик в сердцах плюёт на асфальт и бредёт обратно…

А у дверей гастронома, у меня за спиной, топчется огромный взлохмаченный мужик в мятой одежде, добровольно взявший на себя роль швейцара. С невообразимо пугающей улыбкой на заросшем щетиной одутловатом безумном лице, он распахивает двери перед каждым входящим и выходящим, обдавая запахом пота и перегара… И я уже тоже начинаю ощущать себя персонажем романа Достоевского. Случайным прохожим без имени и слов, который не описан, но явно подразумевается.

Весна. Я чуял дуновенье
Чего-то над водой канала.
Казалось, это вдохновенье…
Нет… Просто корюшкой воняло.

Знаю, как читатели не любят, когда писатель начинает их автобиографией своей пичкать. Ну, я кратенько и не просто так, а мысль пояснить.

Жизнь — она тоже поэт. Она рифмует судьбы. Вот дед мой, Фома, был из семьи «самоходов». Самоходы? Ну, так местные чалдоны — первые насельники деревень вокруг Красноярска — называли пришлых малоземельных крестьян из европейской части империи, понаехавших в Сибирь. Прадед мой, Иван, вместе с большой компанией земляков ещё в конце девятнадцатого века так вот — самоходом из Белоруссии — добрался до деревни с говорящим за себя названием Хмелево, что километрах в ста пятидесяти к северу от Красноярска. Выкатили они, как полагается, местному «опчеству» бочку самогона, ну и «опчество» выделило им землицы — как от дальнего края своих полей, так на запад, «хошь до Урала». Лес корчуй да володей…

Там мой дед и вырос, и женился, и детей нарожал уже порядком, покуда в начале семнадцатого года не пришла его очередь идти сражаться за веру, царя и отечество на империалистической, прости Господи, войне. Попал он первым делом сначала в Красноярский запасный полк, где и формировались команды для отправки на фронт. Кстати, в это же время пребывал там, по слухам, один призывник и бывший ссыльнопоселенец по

имени Иосиф Джугашвили. Ну, дед мой с ним дел никаких не имел, конечно. А если и имел, то не запомнил. А если и запомнил, то не вспоминал. Белорусы — народ древний и мудрый. Они знают, чего не запомнить, чтоб потом не ляпнуть.

Зато подружился он там со смекалистым мужичком одним. Рабочим-механиком. И проникся тот мужичок к деду моему симпатией и присоветовал, чтоб, когда спросят про умения его, отвечал, что механик он, дескать, тоже. Чтоб, значит, попасть вместе служить где-нибудь. Так оно всё и случилось.

И попали они служить в столицу — город Петроград. А точнее — в Гатчину, в авиационный отряд Первого гвардейского корпуса, в котором что ни полк, то лейб-гвардейский. Способности деда как механика, конечно, были быстро оценены по достоинству, и приставлен он был очищать болты да гайки от ржавчины. Но занимался он этим недолго — по причине последующих революций, заметно понизивших важность очищенных болтов и гаек. Зато он получил малоприятную возможность лично наблюдать важные исторические события в столице империи в процессе их развития Он, конечно, мудро воздерживался от личных комментариев по данному поводу. Упоминал только то, что лично лицезрел министров Временного правительства, когда их выводили под белые рученьки из Зимнего.

Отец мой, Фома, родился в Хмелево за два месяца до того, как дед в Петрограде получил возможность на министров-капиталистов поглазеть. Назвала его мать тоже Фомой на всякий случай, ибо кто его знает, как там с мужем дело обернётся… А дед, когда вернулся в родную деревню, посмотрел на сына в колыбели да и сказал жене в шутку, по солдатской своей огрубелости: «Ну вот, спортила пацана! Я-то своего имени допотопного стеснялся, а ему-то и вовсе не с руки будет…» За что, конечно, и огрёб люлей от жены своей, горячей польской шляхтянки.

К 1940 году отец мой успел уже переквалифицироваться из тракториста в учителя и после войны с Финляндией, на которую учителей по причине их дефицита не брали, призван был на службу в Красную Армию. И поехал он, конечно же, дедовым путём — прямо в самую колыбель революции, славный город Ленинград. Поскольку война только что закончилась, а революций, благодаря усилиям дедушкиного временного однополчанина, точно уже не намечалось, папа мой лелеял мечту насладиться службой вблизи «Петра прекрасного творенья», а по окончании её и обосноваться здесь насовсем. Только и успел он научиться у местных девушек торт нарезать правильно да самой нужной в общении с ними английской фразе «ай лав ю», когда злопамятные белофинны на пару с гансами разрушили его далеко идущие планы. И пришлось ему поползать с автоматом по болотам Карельского перешейка. А затем и по иных болотам. Пока в снегах под Старой Руссой немецкий автоматчик не выписал ему одной длинной очередью полное освобождение от строевой службы. И дослуживал он уже как нестроевой очень далеко от Ленинграда.

Я родился в Красноярске. И пятьдесят лет ну ничто не предвещало мне всех тех замысловатых и маловероятных поворотов судьбы, которые совершенно внезапно и мгновенно забросили меня из Красноярска прямо в Санкт-Петербург.

Жизнь — удивительный и странный поэт. Но она рифмует не слова, а судьбы. Рифмует согласно смыслам, до конца понятным исключительно ей одной. Дед, отец, сын. Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург.

Я человек разумный, вот!
А кто по жизни счастлив?
Кот…

Мой кот — коренной питерец. У него и документ с печатью есть. Это ведь не какой-нибудь там деревенский Матроскин… Усы, лапы и хвост… Ха! Документ с печатью! У меня ещё не было, а у него был. А поскольку любой кот — царь семьи, то, наверное, моя семья может считаться почти питерской. Кота назвали Изюмом. Нет, не мы, конечно. Всюду, кроме Питера, это последнее слово, которое придёт в голову при выборе имени для кота. Имя он получил в собачьем приюте, в котором провёл первые месяцы своей жизни. Да, кот — из собачьего приюта. Питер же… Мы вот так же сначала удивлялись его имени. Однако многое, что кажется странным в Питере, всегда находит простое, но вполне питерское же объяснение. Не прошло и месяца, как мы случайно выяснили, что кот Изюм обожает кушать изюм…

У меня тут родилась блистательная философская идея касательно того, почему коты да собаки — это самые популярные домашние животные. Да просто коты и собаки являют собой два морально-этических полюса. Котики — это идеальное воплощение всех осуждаемых в человеке качеств. Лентяи, сони, обжоры и бездельники. И при этом получают всё, что пожелают. Просто в силу своего обаяния. Собаки — те являются абсолютным воплощением всех наилучших человеческих качеств: они верные, умные, честные, бесстрашные и самоотверженные наши друзья. А мы шагаем по жизни между двумя этими моральными маяками, стараясь быть достойными наших собак, но при этом жутко завидуя этим хитрым котикам.

Рыбаки неторопливо
ловят рыбу, дуют пиво.
Им не нужно делать выбор.
Им и пиво,
им и рыба.

В Питере очень много непитерцев. Значительно больше, чем питерцев. Настоящих. Которых ни с кем не спутать. Которые реально называют бордюр поребриком, а подъезд — парадной. Которые находят повод рассказать кассирше в «Пятёрочке» о дедушке, служившем дворником в Зимнем дворце, или о бабушке, называвшей Ахматову «тётя Аня». Которые требуют очищать тротуары от снега до асфальта, но не любят мыть окна в квартире. Которые, соображая на троих на ящике за трансформаторной будкой, реально спорят о философии Шопенгауэра и цитируют «Евгения Онегина» целыми главами. Которые жили в одном дворе с Бродским, или дружили в детском саду с Шемякиным, или в школе с Довлатовым, или учились в университете с Гребенщиковым. Которые злоупотребляют нецензурной лексикой, разговаривая на улице, и тут же объясняют интуристам, как пройти в Эрмитаж, на чистейшем французском или английском. С которыми трудно подружиться, но которые и так всегда вам помогут. Которые знают всё о жизни Пушкина, но не имеют представления о жизни в Челябинске. Которые не пропустят ни одной новой выставки или спектакля, но постараются сделать это задаром. Которые кормят полчища чаек, уток, голубей, кошек и белок, но никогда не выбросят недоеденный хлеб в урну. Никогда.

Настоящие питерцы не любят ненастоящих. Потому что те и говорят, и делают всё не так, не по-питерски. Для которых Питер — это дворцы, каналы и памятники, а не крыши, проходные дворики и ванна на коммунальной кухне. Которых намного больше, но они могут жить и в других городах. Питерцев мало, но они не могут уехать, потому что они невозможны в любом другом городе. Как поребрик в Москве или парадная в Кемерово. Они могут дышать только этим воздухом, пропахшим корюшкой, пышками, морем, цветущими каштанами и мокрым гранитом. Поэтому им остаётся только ждать, когда все эти ненастоящие пооботрутся о стены в парадных, пообшоркаются о гранитные плиты набережных, надышатся питерским воздухом и пристрастятся к корюшке и пышкам. И станут настоящими. Или почти настоящими. А их дети вырастут в этих двора и двориках, скверах и парках и тоже будут ходить в детский сад, учиться в школе или жить в одном дворе с будущими Бродскими, Довлатовыми и Гребенщиковыми. Или сами станут ими. Станут настоящими питерскими. Которые никогда не выбрасывают хлеб в урну. Никогда.

Солнца синь. И чист эфир.
Зонт не взял ты утром рано…
Небо тут же, как факир,
тянет дождик из кармана…

Не знаю, как это так получается. В какой бы точке города ни находился, случайному взгляду, брошенному в любой момент вверх, представляется совершенная по композиции, цвету и сюжету картина видимого фрагмента питерского неба. Это может быть крохотное полотно над двориком-колодцем или масштабная панорама, обрамляемая горизонтом. И по частям, и в целом — это всегда идеальное живописное произведение, вызывающее трудноподавляемое желание обязательно запечатлеть его на память и поделиться со всеми знакомыми. Ну, или просто стоять в немом восторге, сожалея о невозможности любой попытки передать испытываемое чувство словами. Импрессионизм — утром, экспрессионизм — вечером, днём — академизм, сюрреализм, абстракционизм и любые прочие изыски. Акварель, масло, графика… Простор для творчества ограничен только знакомым контуром крыш и шпилей' дворцов, храмов, зданий. Такое впечатление, что все художники, когда-либо жившие тут, сразу принимаются на работу в питерский департамент живописи по небу. А художников в Питере было столько, что, видимо, они там теперь толпятся, толкаются и спорят за каждый кусочек полотна. Кисти ветра и краски света — нарасхват. Так что картина неба меняется каждое мгновение. Пока, наконец, не приходит уборщица с ведром дождя и не смывает всё мокрой тряпкой туч. До следующего утра.

Здесь, в культурной столице,
С марта до января
Дождь на каждой странице
Календаря.

Радуга в луже. Вышел на улицу, жду жену и рассматриваю радугу в луже. Хорошая такая радуга. Небольшое разноцветное коромысло в огромной луже помещается целиком. Правильная такая радуга, но что-то не так. Правильно! Потому и неправильно, что правильно! Поднимаю глаза в небо — радуга висит там вверх тормашками улыбкой Чеширского кота. Улыбка есть, самого кота нету. Ну, теперь понятно, откуда Льюис Кэрролл понабрался всех этих странностей: он же прожил в Питере целых несколько недель.

В Питере привычное нам пространство разбито на кусочки разного размера, в каждом из которых время бежит разнонаправленно и с разной скоростью. Вперёд, назад, вбок. Или вообще стоит на месте. Как вода в этих каналах. Когда она не успевает стекать в море, она останавливается или течёт в обратном направлении. Поэтому тут возможно всё, и поэтому местные ничему не удивляются. Логика коматозного сна. И всё самое интересное случается спонтанно и внезапно. Любой двор — это кроличья нора. Заходишь во двор на Васильевском острове и через десять минут выходишь на Фонтанке. Если тебя это пугает — держись улиц

и не меняй маршрут резко. Я здесь очень быстро теряю ориентацию. Свернул во двор на Гороховой и не знаю, куда вышел. Как?!.. Я же чёртов геолог, я в черневой тайге даже без компаса легко ориентировался. Так… Нужно звонить жене…

У женщин процессор работает в таком же спутанно-квантовом режиме, поэтому они ориентируются тут с лёгкостью. На ходу достаю телефон и сворачиваю за угол — Синий мост, громада Исаакия… Да каким!.. Нет, лучше не думать об этом…

Семь утра, иду на работу. Решил дойти до конца бульвара, а не свернуть, как обычно, в переулок. Дохожу. Поворачиваю на площадь Труда. Бац, а там Лондон начала прошлого века! Двухэтажный красный автобус, пара машин, похожих на чёрные шляпы-котелки, у обочины, красная телефонная будка у ограды дворца. На воротах висит британский «Юнион Джек»… Чтоб — без сомнений… Какого ж?!..

А не надо встряхивать калейдоскоп… Картинка меняется мгновенно… Конечно, если вышел погулять в выходной, мужественно готов к неожиданностям и держишь жену за руку, то можно отважно нырнуть в незнакомый двор на Фонтанке и идти по нему битый час. Идти и нервно удивляться, каким образом внутри квартала с внешним размером сто на двести метров могут уместиться три европейских городка. Причём из разных стран и времён… Что, дорогая? А! Руку тебе больно сдавил… Извини… Навстречу бредёт мужик явно в поисках средств для поправки… Предлагает купить пачку папирос «Норд»! Мужик, их перестали выпускать до моего рождения! Ты из своего квартала когда выходил, в сорок седьмом?

А радуга висит над головой улыбкой Чеширского кота…

У Синего моста
туристы толпятся…
Что?
Русских уже
вообще
не боятся?

Туристов в Питере больше, чем питерцев.

Лето. Я возвращаюсь с работы через самый центр. Сенатская, Пётр, Исаакий, «Англетер», «Астория», Синий мост. Пробираюсь через тысячные толпы людей и не слышу ни одного слова по-русски. Гастарбайтеры в оранжевых коммунальных куртках, сиротливо жмущиеся поближе к зданиям, воспринимаются как родные братья. Салам, брат! — Салам!..

Французы, испанцы, немцы, американцы, англичане и, равновеликие им вместе взятым, толпы китайцев. Я люблю иностранные языки. Нет, не изучать, а любопытствовать. С целью повышения образованности, как говорил почтальон Печкин. Ну и так нахватался понемногу из того языка да из другого. А в Питере ведь есть возможность попрактиковаться. Теоретическая… Туристам некогда лясы точить с местными. Они заняты производством бесконечных селфи на фоне дворцов и храмов. Идёшь, лавируешь так, чтобы не испортить им фото. Сэнкью, шиши, грасиас, мерси.. Да пожалуйста! Вальяжный китаец просит огонька… Даю… Шиши… Напрягаю память: как же там «пожалуйста» на китайском?.. Букхетси! На секунду китаец замирает, дивясь на говорящего «лаовея». Ну, или просто я слова попутал и обругал его невзначай… Не помню, кто сказал, что лучший способ быстро стать полиглотом — это заучить на любом языке одну фразу: «Я не говорю на вашем языке!»

Заметил я, что англичане и американцы обращаются ко мне только в плохую погоду: дождь, гололёд, снег… Зима, метель. Здоровенный американец внезапно останавливает меня вопросом: мол, где тут «Музеум оф уодка»? Я, с залепленным снегом лицом, глотаю летящие снежинки и с сомнительной национальной гордостью отвечаю: «Зачем тебе музей водки, чувак? Зайди в любой супермаркет…»

Самые образованные иностранные туристы появляются в низкий сезон. Они бродят в одиночку по закоулкам непарадного Питера с путеводителем типа «Петербург великих русских писателей». Этим туристам Питер особенно благоволит. Иначе чем объяснить вот такое совпадение?

Стою напротив своего дома. Жену жду, что ещё-то?.. Подходит мужчина моего возраста с путеводителем в руке и пальцем тычет в фотографии двух зданий. Узнаю оба. Одно — на углу справа, другое — на углу слева. И там, и там Достоевский жил… По иероглифам понимаю, что турист — японец. А я вчера вечером как раз читал разговорник японский. Две фразы только и запомнил, прежде чем заснул: «Это вот тут» и «Это вот там». Везёт же мужику! Показываю на дом справа и говорю: «Корэ ва дес!» («Это вот тут!») Показываю на дом слева: «Сорэ ва дес!» («Это вот там!») Японец улыбается и благодарит, кивая головой: «Аригато! Сайонара, брат!»

У Исакия туристы
Селфи делают повсюду.
Я ж, такой красивый, умный,
Просто частью фона буду.

«А где тут Исаакиевский собор?» — внезапно интересуется у меня какая-то туристка. Мы стоим у Исаакия… Все сияющие золотыми куполами сто два метра собора — прямо у меня за спиной. Глуповато улыбаясь, отступаю в сторону, словно моя фигура в состоянии загородить собой эту архитектурную громадину, и делаю жест рукой в направлении собора, словно фокусник, выпускающий из ладони невесть откуда взявшуюся

там птичку. Ох и любит Питер людей заморочить и устроить какую-нибудь нелепую сценку. Кручу-верчу, запутать хочу.

Лето. Шагаю с работы привычным маршрутом. Выхожу на Конногвардейский бульвар. В центре — аллея с липами и дубами, по обеим сторонам — проезжая часть. Иду по аллее и вдруг вижу справа на противоположной стороне улицы высокого седого человека с военной выправкой, идущего широкими шагами. Человек, как теперь принято мудро формулировать, «очень похож» на местного губернатора. Удивляюсь так, что даже не сразу замечаю быстро следующего за губернатором человека в сером костюме. Человека, «очень-очень похожего» на премьер-министра страны. «Да ладно!» — скептически говорю себе. Но мой взгляд уже нервно шарит туда-сюда по улице, готовый увидеть всем понятно кого. Для, так сказать, полного комплекта. Фу! Не видать вроде… А может, потому и не видать?.. И начинает казаться, что люди на скамейках вдоль аллеи сидят как-то демонстративно небрежно. А взгляды у них какие-то слишком цепкие. Как оптические прицелы. А этот идущий навстречу молодой человек слишком элегантен. Костюм-тройка и галстук? Это в Питере-то?!.. Идёт и небрежно так помахивает зонтиком-тростью. Это в июльскую-то жару?!.. Сразу вспоминается Пьер Ришар, «Укол зонтиком», и мысли одна другой бредовее лезут в голову толпой. Морок не морок, обман не обман. Кто знает?.. Питер… Кручу-верчу, запутать хочу…

Иногда Питеру всё ещё удаётся удивить даже ничему вроде не удивляющихся коренных жителей.

Жена покупает в «Дикси» пару небольших оранжевых тыкв, с целью попрактиковаться в фуд-фотографии. В очереди на кассе, очевидно, «настоящая» питерская дама обстоятельно и неспешно рассчитывается за продукты, попутно рассказывая красивому таджику-кассиру о бабушкином рецепте изготовления пышек.

Очередь растёт. «Сергей Миронович очень хвалил бабушкины пышки, когда бывал у дедушки в доме…»

Привычная к таким персонажам очередь ненастоящих питерцев терпеливо ожидает, равнодушная к подробностям жизни Сергея Мироновича. Этим понаехавшим Киров известен не более, чем Рамзес III… Уже собирая — наконец-то! — сумки, дама замечает тыквы, выложенные на ленту у кассы. «А что вы с ними будете делать?» — крайне заинтересованно любопытствует она, с надеждой продолжить приятную беседу новым бесконечным монологом, полным исторических отступлений и семейных воспоминаний. Очередь замирает… Жена, легко застигнутая врасплох неожиданным вопросом, честно отвечает: «Фотографировать…» Дама, очередь и вся сцена вокруг зависают на долгие десять секунд, словно фильм на экране компьютера. Наконец дама приходит в себя и, чтобы хоть как-то вернуть ситуацию обратно в русло привычной реальности, утвердительно заявляет, больше для самой себя: «Ну потом-то вы её съедите?» — «Хорошо», — послушно соглашается жена. Она уже знает, что лучше не провоцировать дальнейшие флуктуации в матрице хрупкой питерской реальности.

Львиный мост.
К нему бездельник
Мимо с пёсиком бредёт…
Так на службу понедельник
на цепи меня ведёт…

«Вот только не надо говниться!» — это так моя добрая приятельница и коллега обычно комментирует мои якобы «инсинуации» на тему коренных жителей. У неё всё как полагается: правнучка генерал-майора Генштаба царской армии, внучка академика и дочка учёного-слависта с мировым именем. То есть обыкновенная питерская дама с Петроградки. Рыжеволосый вихрь невероятных случаев, сильных эмоций, самоотверженных бескорыстных действий и увлекательных хаотических воспоминаний «кстати». В которых то и дело внезапно выплывают имена людей, давно обосновавшихся в «Википедии».

«А я ему сказала: Боб, это самолюбование! У вас — бобизм!»

Ну конечно… Известный питерский музыкант был в юности её репетитором по математике.

«Давайте не будем трогать Борис Борисыча!» — бросаюсь я на защиту незыблемой святыни моего застойного поколения…

Работаем мы в одной очень уважаемой в нашей профессиональной области организации. Настолько уважаемой, что, если честно, я-то вообще и не должен был здесь нарисоваться. Никогда. Тут по коридорам живые геологические классики до сих пор ходят. Некоторые — с 1947 года!

А один даже — с фамилией красноярского героя Гражданской войны, в честь которого названа улица в Красноярске. Я в детстве в баню на той улице ходил. А тут воду из кулера в коридоре набираю, а мимо его внук идёт.

А в коридоре на центральном входе, где я деньги из банкомата иногда беру, эпизод из «Мастера и Маргариты» снимали. Правда, слава тут несколько неоднозначная. В том эпизоде поэта Бездомного в психбольницу привезли. Я вот лично ума не приложу: почему это именно в нашем институте и почему именно в Питере это снимать решили?

«Вы прям не можете слова сказать, чтобы нас не обгадить, — опять одёргивает меня моя язвительная приятельница с Петроградки. — Если так не нравится в Питере, езжайте обратно в свой Задрючинск», — в сотый раз резюмирует она с притворным питерским снобизмом.

«Красноярск!» — в сотый раз поправляю её с притворно оскорблённым патриотизмом.

Я люблю Красноярск. У меня там остались люди, которых мне не хватает. И не хватает вида этой впечатанной в небо полосы гор, сопровождавшего меня всюду, куда бы я ни направлялся. Но иногда в Питере облака, поднимающиеся над горизонтом за Невой, напоминают мне знакомую картину отрогов Саянских гор за сияющей лентой Енисея…

Недавно посмотрел альбом живописи гениального красноярского художника Андрея Поздеева и вдруг на одном его городском пейзаже увидел знакомый красный дом с башней у моста через канал. Дом этот стоит как раз на краю той коротенькой питерской улочки, где я теперь и живу. Теперь, как мимо иду, каждый раз родной город вспоминается. Спасибо, Питер.

В Питере мне нравится. Очень. Не знаю, нравлюсь ли я Питеру. И скорее всего никогда не узнаю.

А уехать отсюда я теперь уже не могу. Ведь если я вдруг уеду, тогда у меня и здесь тоже останутся люди, которых мне будет очень не хватать.